



**ВАЛЕНТИН РАСПУТИН**

## СЛОВО ПИСАТЕЛЯ

*Валентин Распутин... Имя нашего выдающегося земляка, крупнейшего русского национального писателя, накануне 70-летия заставляет вновь и вновь обращаться к его слову, которое звучит высоко и совестливо и теперь уже в XXI веке заставляет нас внимательнее и ответственнее взглядываться в происходящее вокруг.*

*У всех на памяти недавняя конференция по повести «Дочь Ивана, мать Ивана» — горячей, остросовременной, и мы публиковали отзывы о ней критиков и читателей; рассказ «В непогоду», в котором шторм на Байкале со свойственной Распутину художественной силой возведен до символа «мудро отступившего Апокалипсиса».*

*Продолжается публицистика — всегда очень точная по оценкам, честная по взгляду, глубокая по осмыслению событий.*

*Мы предлагаем вниманию читателя выступления Распутина на Рождественских чтениях и X Всемирном Русском Народном Соборе 2006 года и даем слово тем, для кого творчество и личность писателя значат очень многое.*

*И, конечно, редакция «Сибири» сердечно поздравляет Валентина Григорьевича с юбилеем и желает ему здоровья, духовных сил, творчества.*

*Мы гордимся, что Вы — наш автор!*

«Велико незнание России посреди России». Эти бессмертные слова Гоголя не только не устарели — они приобретают в последнее время какой-то фатальный смысл и вполне могут быть подняты над зданием Министерства образования и как оценка успеваемости по этому предмету, и как напутствие, с каким оно, Министерство образования, могло бы пойти на преодоление этого незнания. С еще большим основанием гоголевские слова могли бы быть водружены над зданием Правительства России, но речь сейчас о школе, об образовании, о наших надеждах на завтрашний день.

Велико незнание России, велико непонимание и велико уже ее неузнавание. «Эти бедные селенья, эта скудная природа — край родной долготерпенья, край ты русского народа!» — картина, конечно, безрадостная, но не безнадежная, сквозившая и тайно светившая обещанием будущих перемен и «в наготе своей смиренной», которую не поймет и не оценит «гордый взор иноплеменный». Сегодня этот «гордый взор иноплеменный» со злорадством перемещается в нас.

Удивительно, как имя, название, звучание любого дела и учреждения, тем более учреждения, представляющего собой один из основных и жизнетворных органов государственного организма, как это преломленное название способно неизбежно перейти в суть учреждения и преломить его назначение. Было когда-то Министерство народного просвещения и просвещало младые поколения, давало им вместе с науками тепло отеческого наставления и отеческой веры, напивало родным духом и расчищало отечественные родники с живой водой. Вероятно, это просвещение не было идеальным и не было полным, но по направленности, по задачам своим оно было верным — помочь наполниться своим и родным настолько, чтобы вместе с физическим возрастанием без болезненных наростов шло возрастание духовное, т.е. заложить прежде в личность национальный камертон, а уж затем пускать ее в море знаний.

Сейчас у нас Министерство образования, сохранившее свою вывеску еще с советских времен. Как бы не скрывающее цели преобразовать, перестроить, переоснастить поступающие в его распоряжение души на принятую стандартную колодку. При коммунизме это была идеологическая колодка и привела она к такому уродливому и двоедушному явлению, как «образованщина», которая сыграла как не главную ли роль в развале прежней общественной системы. Теперь эта колодка рыночная. При коммунизме почва не отвергалась окончательно, хотя использовался только верхний ее слой; теперь и почва, традиция, вековое народное бытие подвергаются тотальной и безжалостной обработке, чтобы не повторить ошибок коммунизма, когда из них чудом принялась прорасти, казалось бы, окончательно вбитая в прошлое тысячелетняя Россия.

В этом и суть навязанных нам реформ: выдернуть, как морковку, современную Россию из России глубинной, придать ей товарный вид и выставить на прилавок.

Пушкин сказал о Петре:

Не презирал страны родной —  
Он знал ее предназначенье.

«В самом деле, — писал В. Розанов в статье «Представление о России в годы учебной реформы» (учебная реформа того времени и дала Розанову толчок поразмышлять шире о путях российских реформ. — В. Р.), — в самом деле, успех реформы Петра Великого — в том, что «препобедила всякую тьму», заложен был не только в силе, которую дало ему его положение, и не в одной его огромной решимости, но и в этом особенном его отношении к преобразуемой стране, на которое указал поэт... Петр не иссуша пришел к нам, он встал к России не в положение инородной силы... «А о Петре ведайте, что жизнь ему не дорога; жила бы и цвела Россия» — так в памятных словах перед Полтавой он определил себя, указал служебное, покорливое, второстепенное свое значение около России. Из этого взгляда на себя вытекла простота его приемов. Он боролся с Россией, но... на русской же почве; с нравами, но русским же нравом; с обычаем, но не покидая русской своеобычности; и, наконец, он сам, он весь в лице своем, движениях, манере был новый русский быт, и только более свежий и, главное, более правдивый, чем тот окаменевший в своей условности и формализме прежний быт... Россия старая, Россия предания оказалась бессильной против него, потому что он не хотел и не требовал от нее ничего, кроме правды в ней же самой, в ее же вере, в ее притязаниях...»

Но Пушкин, согласившийся с Петром, и сам был реформатором. Всякая внутренняя реформа, как исправление сложившегося порядка вещей, но именно как исправление порядка, который становится громоздким и неуклюжим, происходит в свое время, словно бы соизволением свыше. Трудно представить, чтобы державинская ода «Бог», как и оды Ломоносова и ранние оды Жуковского, были произнесены пушкинским слогом, без той торжественности и колокольного звона в поэзии, который был духом XVIII века. Нельзя представить, чтобы «Слово о полку Игореве», наша национальная святыня, звучала бы как-то иначе, чем на языке своего времени, в глубинах нашего сознания этот язык сохранился, и мы вспоминаем его тотчас же, как переносимся в XII век, а все множественные переводы «Слова...» последних десятилетий вызваны не разъяснением смысла, который давно разъяснен, а желанием прикоснуться к этой святыне авторским пером и взять уроки мастерства.

Иван Ильин, говоря о Пушкине как реформаторе языка, отмечает, что он, Пушкин, «нашел точную меру, верный критерий, чтобы от многого отказаться, но и многое сохранить, и ровно столько, сколько нужно... Пушкин, — продолжает Ильин, — один из тех, кому по плечу любая свобода и оторванность от корней, поскольку они обладают материей и силой, чтобы независимо и свободно укорениться в Боге».

Но чтобы «укорениться в Боге», оторванность от почвы и не нужна, от почвы к Богу ближе. Вообще вся наша дворянская литература XIX века, и в особенности помещичьего дворянства, на удивление почвенна, но это уже удобренная просвещением почва, нагретая не только солнышком, а и культурой, но и не потерявшая своего природного состава. «Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!» — воскликнул Пушкин, слушая Арину Родионовну. Он-то воскликнул, и восклицание это дошло до нас, но как важно, чтобы в школе оно прозвучало с той же интонацией, искренностью, радостью и удивлением, с какими было произнесено поэтом.

Сохранились записи Ф. М. Достоевского при пересечении им пограничной станции по пути в Европу — записи, имеющие отношение к тогдашнему образованному классу. Достоевский размышляет: «Как еще не переродились мы окончательно в европейцев?... Ведь не няньки же и мамки наши убередили нас от перерождения. Ведь грустно и смешно в самом деле подумать, что не было бы Арины Родионовны, няньки

Пушкина, так, может быть, не было б у нас Пушкина. Ведь это вздор? Неужели же не вздор? Вот теперь много русских людей везут воспитываться во Францию; ну что, если туда увезли какого-нибудь другого Пушкина — там у него не будет ни Арины Родионовны, ни русской речи с колыбели? А уж Пушкин ли не русский был человек! Ведь это пророк и провозвестник. Неужели же в самом деле есть какое-то химическое соединение человеческого духа с родной землей, что оторваться от нее ни за что нельзя; и хоть и оторвешься, так все-таки назад воротиться».

Прошло полтора столетия, и слова Федора Михайловича «хоть и оторвешься, так все-таки назад воротиться» потеряли свой утвердительный смысл. Возвращаются изредка и ныне, но возвращаются с заграничными паспортами, как послы чужих порядков, для того, чтобы и в России оторвать от России.

«Есть в природе закон, — это опять из статьи В. Розанова о принципах образования, — есть закон, по которому два луча света, известным образом направленные, взаимно интерферируются и вместо того, чтобы производить усиленное освещение, производят тем ноту; есть нечто подобное и в душевной жизни человека: в ней также интерферируются образующие впечатления, если они противоположны по своему типу, и вместо того, что бы просвещать ум и сердце, погружают их в совершенный мрак. Это мрак хаоса, когда сведения есть, когда знаний много и, однако, нет из них ни одного дорогого, не осталось и тени веры во что-нибудь, убеждения, готовности, потребности, — кто теперь не узнает его в себе, не скажет: это — я, это — моя пустота».

Куда современной и злободневней: «это — я», «это — моя пустота». Образование наше строится по принципу подобных взаимоисключающих и взаимопоглощающих лучей, один из которых традиция, вернее, остатки традиции, «это я», и второй — навязанная бес шабашно школе инновация, это «моя пустота». Казалось бы, в таком положении образование должно стать слугой двух господ, однако в действительности даже и этого не происходит, ибо оно все решительней дает понять «старой закваске», что права ее на молодое поколение подходят к концу. И вот уже в школьных программах напротив одного ряда другой, несовместимый с первым и приготовленный для его замещения: напротив Пушкина свой Пушкин, к примеру, Бродский, напротив Есенина — Высоцкий, напротив Достоевского — к примеру, Сорокин, напротив Толстого с «Войной и миром» свой Толстой — к примеру, Войнович с «Чонкиным», напротив Белинского — Ерофеев... Я говорю «к примеру», потому что имена второго ряда могут меняться, но ни в коем случае не меняется сама его духовная составляющая. Фигуры эти из второго ряда, разумеется, могут быть в литературном процессе, и они там есть, но зачем же их включать в рацион материнского молока, ибо школьное образование и есть материнское молоко, продолжающее необходимое кормление с пеленок, и если оно не отвечает этому назначению и этому составу, если оно превращено в молоко хищной волчицы — так чего же тогда и ждать?!

Рука вершителей образования поднимается уже и на «Евгения Онегина», и на «Героя нашего времени», и на «Тараса Бульбу». Стандарты по литературе все больше и больше теснят Пушкина, Тютчева, Фета, Некрасова, Блока, Есенина, выброшены «Конец — Горбунок» Ершова, «Аленький цветочек» Аксакова, «Снегурочка» А.К.Толстого, не стало Кольцова, прежних народных былин и сказок. Подмены, подмены, подмены... «Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово!» — поклялась в блокадном Ленинграде Анна Ахматова, тоже теснимая теперь в школе, — и тогда действительно сохранили, потому что учились по старым учебникам.

«..возврат к национальным традициям — вот истинная новизна для нашего времени», — сказал Георгий Свиридов, но сказал, кажется, уже в пустоту, почти никто его не услышал.

Чтобы прикрыть и оправдать безграмотность, вводят тесты-угадайки; чтобы не обнаруживать хитроумных нарядов школьной экипировки, не способной прикрыть дыры, притащили из чужих краев единый экзамен. А с родины этого изобретения, этого единого для выпускников школ и поступающих в университеты, все чаще звучат крики о беде: тамошние Митрофанушки и после университетов не умеют писать и едва-едва читают по складам. Причину видят в отступлении от фундаментального образования в сторону прикладного, хотя она, конечно, глубже и кроется в самом обществе, но ведь и у нас это прикладное и непрофильное густым забором, через который трудно продрасться, огораживается теперь от основного. «Зачем ума искать и ездить так далеко?» Нет ответа на эти классические вопросы, а есть задание и есть его исполнение. И еще: «Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа». Кто мог бы представить, что слова эти, должны говорить о величии России, могут быть применены к ее возвратному ходу, к пресмыкательству перед другими народами и государствами, которые прежде уважительно посторанивались и уступали ей дорогу!

Еще Ушинский говорил о необходимости сделать русские школы русскими. Стало быть, и в его время в этом была потребность. Сделать русские школы русскими — не значит уткнуться в русское и ничего больше не признавать, мы шире своей колыбели, и об этом прекрасно сказал Достоевский в своей пушкинской речи. Но для того чтобы принять в себя богатство мировой культуры и науки не для складирования только, а для питания и развития, материя души у русского человека должна быть русской и православной. Такими были в совершенстве своей личности Ломоносов, Менделеев и Вернадский, Пушкин и Тютчев, Толстой и Достоевский, Аксаковы и Киреевские. Русскими остались тысячи и тысячи ушедших на чужбину после Гражданской войны, удивляя просвещенные страны, такие как Франция и Германия, неповрежденностью и глубиной своих ярких талантов. «А за то, что нас Родина выгнала — мы по свету ее разнесли» — да, разнесли и души, и песни, и особенности нашего быта, и уживчивость, и говор, и веру. Там, на чужбине, созданы были и «Жизнь Арсеньева», и «Лето Господне» с «Богомольем», и многое другое, без чего нашу культуру и не представить.

В воспоминаниях о Бальмонте Шмелев записывает: «Лет шесть, по полугоду мы жили рядом... сидели на излучине у речки — тенистые берега, коряги, сосны, пески и кулики... Я слышал о России, все чаще о России. Мы ее искали, вспоминали... Осень... близка полночь... Вдруг шорох, неурочные шаги... И оклик тихо: «Вы еще не спите?» А, ночные! Еще не спим. И мы беседуем, читаем. Он — новые сонеты, песни... Я — «Богомолье», приоткрываю детство, вызываю. Мы забывались, вместе шли... в Далекое Святое, дорогое».

И кто бы мог представить, что пройдут годы, и мы, не покидавшие Родины, будем так же тосковать о России посреди России, хвататься за нее, гонимую, искать закливающие слова, и замолкать в отчаянии. А вернувшийся на Родину в гробу Иван Сергеевич Шмелев мог бы гордиться тем, что его «Лето Господне» предложено теперь и школе, если бы... если бы школа имела один голос, одно направление, как в его детстве.

Русский язык, отечественная словесность и отечественная история — когда бы

оберечься этим триединством в их нераздельности, да еще с молитвой, — встали бы мы на путь спасения.

Хрестоматийные слова Тургенева о русском языке хорошо известны, мы в свою пору заучивали их наизусть, и я бы не стал их повторять, если бы не отчетливое ощущение, что именно для нашего, настоящего времени и вызрели они в полном смысловом звучании. «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины (разве мы не на пике этих сомнений и раздумий? — В. Р.) ты один мне поддержка и опора (разве не так? — В. Р.), о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома?!» Не будь тебя — кажется, и дыхания уже не было бы... Как это верно и какая это живительная поддержка для всех поколений русского человечества, которую не обогатить и не запретить, не спрятать и не убить, хотя и пытаются обогатить, хотя и пытаются переговорить и перекричать иными наречиями, зачернить грубостью и дикостью.

И все это было бы ничего, не опасно и никакого вреда нашему языку принести не могло бы... Если бы мы читали. А читают все меньше. Если бы, как в чистилище, заглядывали мы почаще в книгу безупречной чистоты и восстанавливали свое дыхание и кровообращение, свое богоданное чутье на хорошее и плохое... Чтение доброго и прекрасно го, вздымающего душу, — это тоже молитва, пусть и мирская, но совсем теперь близкая к божьей...

Пушкин во имя красоты, гибкости и чуткости русского языка снял с него оскомину церковно-славянского, но не вывел из храма и умел настроить свою лиру на молитвенный лад. Этот лад не покидал потом никого из наших больших мастеров, однако, требовал все той же настройки. Шмелева нельзя назвать реформатором языка, но в свое суровое время он сумел придать ему редкую, не бывалую дотоле, дружественность, ласку и даже умильность — точно сам язык, пораненный во вражде и войнах, высмотрел Шмелева в каких-то дальних и укромных своих палестинах и вручил ему этот дар всегда теплого и сердечного звучания. Иван Шмелев — это Алеша Карамазов в русском литературном братстве XX века, в котором, как в романе Достоевского, были разные персонажи, — Алеша, явивший монастырскую душу всепонимания и прощения.

Воистину это волшебство: нет ничего в человеке, ни в чувствах его и мыслях, ни в самых потайных движениях души, ни во вздохе его и взгляде, что бы наш язык не назвал. Нет решительно ничего ни в человеке, ни вовне его, перед чем бы он остановился в бессилии: нет, не могу. Он может все, длань его объемлет и малое, и большое, и для тех, кто принят им в его царство, он не инструмент, как легкомысленно полагают, а учитель и духовник, всемогущий владыка несметного богатства. Не знаю, есть ли в мире еще язык, подобный нашему; судя по почтению и удивлению, с какими относятся всюду к русской литературе, пожалуй, и нет. Мы счастливые избранники, и не хочется даже предполагать, будто мы потеряли способность понимать, что нам дано, и утратили чувствительность к красоте и силе нашего языка. Это было бы самоубийством.

В пору моего школьного ученичества было принято и заучивать большие отрывки из программных литературных произведений, и зачитывать их перед классом. Никогда не забуду своего неожиданного и счастливого преобразования, происшедшего со мною, когда вызвали меня к доске прочитать отрывок из рассказа И. С. Тургенева «Певцы».

«Он пел (он — это Яков, мужик, в певческом поединке взявшийся исполнять народную «Не одна во поле дороженька пролегал». — В. Р.), — он пел, и от каждого

звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед нами, уходя в бесконечную даль. У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слезы; глухие, сдержанные рыдания внезапно поразили меня... Я оглянулся — жена целовальника плакала, припав грудью к окну. Яков бросил на нее быстрый взгляд и залился еще звонче, еще слаще прежнего; Николай Иванович потупился, Моргач отвернулся; Обалдуй, весь разнеженный, стоял, глупо разинув рот; серый мужичок тихонько всхлипывал в уголку, с горьким шепотом покачивая головой; и по железному лицу Дикого-Барина, из-за совершенно надвинувшихся бровей, медленно прокатилась тяжелая слеза; рядчик поднес сжатый кулак ко лбу и не шевелился...»

Дома, готовя урок, я прочитывал этот отрывок спокойно, но перед классом, прозвоня его, я вдруг перенесся туда, в этот кабачок, где звучала песня, и донесшийся въяве голос Якова вдруг пронзил меня, сердце мое захолонуло от восторга, словно бы проклюнулось,хватило воздуха, и к глазам тоже стали подниматься слезы, голос мой сорвался и умолк... Потом те же счастливые слезы проникновения в родное и глубинное я испытал при чтении рассказа И. А. Бунина «Косцы», где рязанские мужики за покосным трудом, встав в ряд и размашисто водя литовками, пели в голос... Как пели, Господи, как пели, вынося и вздымая в небеса какое-то неслыханное счастье быть русским человеком!.. И до сих пор поют, когда находятся слушатели. Как много подобного чуда, подобного волшебного прозрения души в нашей литературе! Это больше, чем художественность — это — редчайшее постижение заложенной в наш народ тайны.

Вольно или невольно, это особый разговор, вольно или невольно мы подошли сегодня к черте, когда школа становится не частью жизни, одной из многих частей, а последней надеждой на наше национальное существование в мире. Никогда еще так не нуждалась школа в грамотном учителе — грамотном не только в своем предмете, а прежде всего и свыше всего в науке отечественного обоняния и осозания, с которых начинается гражданство. Школьное образование сегодня — это служение, и служение тяжкое до самоотвержения и креста, и кто не готов к нему, тому лучше отойти в сторонку и заняться другим делом. Сегодня еще не поздно, есть все признаки того, что и со школьных парт, и в вузовских аудиториях чают и ждут такого учителя. В последнее время мы часто вспоминаем нижегородское ополчение, спасшее Россию в Смуту XVII века, — новая смута теперь закрадывается в нас самих, в народ наш, пришла пора вставать против нее всеми здоровыми силами. Хватит оглядываться с опаской, что подумают о нас, хватит — надо думать о своем спасении, никто в этом жестоком мире нам его не подарит. Как говорил Достоевский: «как только мы почувствуем себя русскими и православными, тотчас все и устроится».

## ЗЕМЛЯ

### Выступление на X Русском Народном Соборе

ВЕРА. ЗЕМЛЯ. ЧЕЛОВЕК. Три главных, коренных слова русской цивилизации, три основополагающих ее понятия, три кита, на которых она стояла и пока еще удерживается, — всеобъемлющее единство нации и государства. «У каждого народа есть Родина, но только у нас Россия», — убежден был русский философ Г. Федотов, уверенный, что словами этими нельзя никого озадачить в том роде, будто точно так же только

у француза есть Франция и только у немца Германия. Нет, полного уподобления с кем-либо быть не может: Россия для нас не просто место рождения, воспитания и проживания, место приложения своих сил и сыновьего преклонения — она полная самотканность нашего естества и духа. Только в России, крестьянской стране, в одном ряду с окружающим нас природным миром мы имели как бы почвенное, растительное происхождение: в свой черед всходили из засевок, как солнышко, впитывали веру, на общем поле поднимались в народ, и сами давали засеки и питали государство...»

Не было в мире народа, который бы так чувственно и родственно поклонялся матери родной земле и так органично ощущал ее в себе. Но и не было в мире народа, который бы, подобно нашему, принял веру как дыхание и назвал ее именем Христа. Только у русского поэта могли выдохнуться строки: «... всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя». Два поля обрабатывал крестьянин с одинаковым усердием, от двух насущных хлебов кормился, и ни одно из них не запустил, пока жив-здоров был сам.

Деревня — отечество наше еще с беспмятных времен, оттуда прежде закона пошли обычаи и традиции, скрепившие народ воедино лучше закона в его хозяйственном, нравственном и обрядовом порядке жизни. Перед незаслоненным ликом красоты мира божьего деревня выпевала сладкие песни и творила язык... Подвиг творения народом русского языка невозможно ни переоценить, ни осознать в полной мере. Перед этим сокровищем, перед несметью самородного своего богатства немеет и сам язык, способный назвать все и вся, и даже больше, чем все и вся, под размер наших земных просторов и неохватной нашей души, перед собственной громадой и великолепием он невольно тушется, говоря словом Достоевского, не в силах выразить свое состояние. Дело творения языка сейчас, кажется, кончено или почти кончено; все, чем он прибывает сегодня, имеет чуждое происхождение и вонзается в наш язык, как шипы, не давая выговаривать чисто, а ведь из поколения в поколение, из рода в род шла эта узорная ткацкая выделка оказывания сама собой, от душевной художественности и природного чутья. В.И. Даль замечает: «Ни чужие языки, ни грамматические умствования не сбивают его (мужика. — В.Р.) с толку, и он говорит верно, правильно, метко и красно, сам того не зная...»

Русский язык, разумеется, имел не только самородный источник; в единой, сросшейся кладке его мы и сами не всегда способны замечать заимствования. Но как только окунаемся мы в себя, в свои потайные созерцательные глубины, как только душевное наклонение убирает все лишнее — родниковой, чистой в обрамлении непорочного языка становится сама мысль, самое счастливое присутствие в мире.

Вот отрывок из дневника Б. Шергина:

«Попаду в деревню, и нет у меня сытости глядеть на эту светлооблачную небесность, на эти тропиночки меж дерев, на эти ряды белеющих, как свечечки, берез... Голуби на серебристой крыше сарая, стайка воробьев на изгороди. А по сторонам тропинки, ромашка. А вдали стена темных, важных, неподвижных елей.

Нет сытости слушать и внимать шелесту листвы, шуму ветра, шороху дождя. Музыка тонкая и сладкая, вожденная, любимейшая! Иной гул хвойного бора, совсем иначе шумит березовая роща. Вокруг нашего дома темнеют ряды елей и белеют купы берез. Под ними кусты ягодника и трава-мятлик. При ветре они все будто разные инструменты симфонического оркестра. Разные, но звучат согласно и стройно.

А речь и говоря дождя... Уж столько у дождя разговору со старинною крышею нашего домика! Видно, давно знакомы. Сначала редкие капли обмолвятся словом да

помолчат. А потом все заговорят, зарассказывают спешно. Тучка-то торопится, дөрвень-то много надо облететь, каплям дождевым много надо обсказать: то у них и спешная говоря-та. Ино в ночи долгую повесть дождь-то заведет. Я лежу да внимаю. Осенний дождь слушать люблю. Он мое мне рассказывает. Мёрная говоря дождя, особливо осеннего покой в душу приводит.

Дождь-то знает, что я его слушаю, ведает, что я слушать его люблю, и он подолгу со мной свою беседушку ведет, все мне обскажет. Мое говорит, моему уму норовит, речи-беседы дождей, радостных вешних или грозовых летних, или осенних тихомёрных — всегда они, эти речи дождевые, уму-разуму и сердцу-хотению желанны и любезны».

Я СОЗНАЮ, что представлять столь высокому собранию подобные слишком уж обыкновенные и как бы «погодные» настроения — надо ли? Но это наша живая пуповина от матери родной земли, наше неотмершее чувствилище. Из них, из этих незадачливых, казалось бы, проникновений в плоть природного мира, из нашей свойскости с ним, из способности внимать речам дождя и ветра, окунаться в невыразимом счастье самоотречения в солнечные закаты и восходы, уноситься с земли в полыхающее звездное небо — из всего этого и составляется наша особая мироощущительность, наша органичность, наша сыновность. Эти наши внутренние просторы и грады зазвучали и засветились потом в литературе, да и во всех художествах, а также в философии, которая не стала и не могла стать никакой иной, кроме как духовной. Но еще прежде эти дары помогли нам воспринять веру православную с такой искренностью и глубиной, будто мы всегда ее чаяли; и это потому, что гнездовья наших душ для встречи с нею были подготовлены заблаговременно.

Деревня, в определении Даля, — крестьянское поселение без церкви. Так оно чаще всего и было, так и есть. Но вот удивительное свидетельство из времен Отечественной войны, притом не с нашей, а с немецкой стороны, документ, имеющий отношение к угнанным в Германию на физические работы женщинам. Цитирую: «Из Бреслау один начальник отдела учета доложил: остербайтеры должны у меня регистрироваться для заведения на них карточек. При этом они почти все заявляют о своей принадлежности к православной церкви. При указании, что в Советском Союзе господствует безбожие и пропагандируется атеизм, они объясняют, что это имеет место в Москве, Харькове, Сталинграде, Ростове и других крупных промышленных центрах; в сельской местности советские русские являются очень религиозными. Почти каждый из опрошенных русских доказывал свою христианскую веру тем, что имел с собой цепочку с крестиком». И второе свидетельство из того же Бреслау: «Фабрика киноплёнки «Волырен» сообщает, что при проведении на предприятии медосмотра было установлено, что 90 процентов восточных работниц в возрасте с 17 до 29 лет были целомудренными. По мнению разных немецких представителей, складывается впечатление, что русский мужчина уделяет должное внимание русской женщине, что в конечном итоге находит отражение также в моральных аспектах жизни».

Церковь в деревне, разумеется, не помешает, казацки станицы без церкви не жили, но и в отсутствие ее сама пропитанная верой почва, обнесенная везде и всюду житиями святых, внушала и поддерживала церковность как верховный закон народного бытия. Вера плодоносила здесь вместе с хлебом и здоровой консервативной жизнью, вместе со страдными циклами, в которые вводили и из которых выводили красные церковные дни, чтимые беспрекословно.

Еще столетие назад Россия на 90 процентов оставалась крестьянской страной. Это значит, что приток в города шел из деревни. Испокон веку приносила она туда свою силу, чистоту, трудолюбие, здоровье и умелость. Из быliny доносится: «Гой еси, Чурила Пленкович! Не подобает тебе в деревне сидеть, подобает тебе, Чурила, в Киве жить, князю служить!» А наипервый русский богатырь Илья Муромец, ставший русским святым?! Шли из деревни Ломоносовы и Менделеевы, Аксаковы и Лесковы, Некрасовы и Есенины, Коненковы и Васнецовы, Мусоргские и Рахманиновы; крепостная Параша Ковалева стала великой оперной певицей Прасковьей Жемчуговой, а затем графиней Шереметевой; Ваня Вениаминов из глухого села на реке Лене возвысился в своем великопастырском служении до Святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского.

Перечень этот можно длить и длить до бесконечности. В советское время, когда крестьянскому происхождению открылись дороги в университеты и академии, герой Василия Шукшина со свойственной ему горячностью говорит об этом так: «А в чем дело вообще-то? Да если хотите знать, почти все знаменитые люди вышли из деревни. Как в черной рамке, так смотришь — выходец из деревни. Што ни фигура, понимаешь, так — выходец, рано пошел работать».

ВСЕ ЭТО ГОВОРИТСЯ не для того, чтобы возвысить деревню, идеализировать ее и доказать ее первенство в судьбе России. В этом нет необходимости. И город и деревня всегда оставались на своих местах, как их Господь и власть устроили, каждая сторона исполняла свою службу. Одно не вызывает сомнений: деревня всегда была надежным фундаментом России, видимой и невидимой твердью, кладом, где всего-всего Богом и человеком заложено в избытке, тылом настолько бескрайним и могучим, что не могло быть ему, казалось, никакого износу. Сама земля взращивала своих детей на корне здоровом и бесшатком и закладывала в них силы и таланты, свойственные духовной плоти России. Оттого и повелось: потребовалась молодой Петровской академии защита от засилья немцев — и по тому же перекатистому зову, который скликал былинных богатырей, вышел из поморских лесов Михайло Ломоносов; зачастили в XVIII веке европейские сочинители насмехаться над Россией: не дано, де, русским даже до мышеловки додуматься — и самоучка Иван Ползунов первым в мире разработал проект паровой машины; приповадились в послереволюционной России литературу склонять то к местечковому, то к комиссарскому языку — и поднялся Шолохов с «Тихим Доном»; захороводились, заплясали в музыке нотки с рожками — и из курского песенного края выступил Георгий Свиридов; в самую лихую годину, когда над Отечеством нависла угроза быть ему или не быть, пришел на передовую Георгий Жуков... Мужика в деревне не надо было учить патриотизму — он был у него в крови; мужик не нуждался в понуждении к национальному чувству — он весь из него состоял, не всегда, впрочем, разбираясь, что это такое, но исполненный им настолько, что братство в многонациональной российской семье принималось им так же естественно и дружественно, как всякая необходимая богоданность.

Как не преклониться перед мудростью народной, которая века и века назад указала направление грозящей России опасности! До чего просто и до чего верно: сверху небо, снизу земля, а с боков ничего нет — оно и продувает. Боковины свои мы и не сумели охранить. Это еще пушкинская мысль применительно к традиции: что пребывает в России, то ко благу ее; что не вмещается — то соблазн и опасность. От славянофилов и до Столыпина звучало предостережение: «Нельзя к русским корням и русскому

стволу прививать чужестранный цветок» — и не предостерегло. Один из последних славянофилов XIX века А. Кошелев, работавший над программой освобождения крестьян, уверен был: «Скорее вода пойдет против своего обычного течения, чем русский поселянин может быть оторван от земли, упитанной его потом».

«Современники, страшно!» — по другому поводу воскликнул Гоголь, но слова эти поднебесным набатом бьют и бьют скорбно над бесконечным кладбищем, в которое превратилась русская деревня. Гробами торчат брошенные людские жилища, в руинах лежат разграбленные фермы, гаражи и склады, поля заросли кустарником и осинником, овраги, как гигантские змеи, наползают на вековую обжить; последние поселяне, кому некуда бежать, с лета и до поздней осени бесконечными живописными колоннами выстраиваются вдоль больших дорог, торгуя не плодами земли, а плодами тайги. Деревня разрушена, обесцечена, вывернута наизнанку и выброшена на свалку, а свалка эта занимает теперь пол-России.

Невеселую эту картину гибели русской деревни нельзя, конечно, назвать всеобщей: и сеют еще, и пашут, и урожай в богоданные годы собирают неплохой. Уцелела деревня в Башкортостане, на Белгородчине и Орловщине... Трудно отделаться от впечатления, что уцелела благодаря стоящим на страже и окаменевшим в чистом поле былинным богатырям — иное, не сказочное, объяснение как-то не дается. Распахиваются заново кое-где и запущенные поля, сами себя принимают кормить на арендованных землях промышленники, не надеясь на государство, которое по рукам и ногам, как в полоне, крепко-накрепко стянуто рыночными путами. Но у промышленников и производство зерна промышленное, и называют они его не хлебушком, а продукцией, и ни лелеять, ни приласкать его не умеют. В теперешнем хлебобобовом деле земля отчуждена от пахаря, а пахарь от земли, прервалась меж ними таинственная связь, исчезло родственное сцепление, произошло обоюдное чувственное остывание. Чтобы остаться деревне деревней — надо вернуть весь прежний строй бытия и миропорядка, поэзию, обычаи, вековечное чутье на доброе и дурное, способность рожать детей в неизносной рубашке все того же крепкого покроя, к которому никакая зараза не пристанет.

Возможно ли это, при существующем сегодня в нашей стране государственном строении чужой архитектуры и чужого духа трудно сказать. Возможно ли, когда деревню не спасают, а добивают, изымая из нее последние общинные крепости — фельдшерские пункты, библиотеки, школы? Государство, пока оно обитает на земле, вынуждено и опираться на землю, другой опоры у него нет, но это опора не живой ногой, ощущающей токи тысячелетней почвы, а мертвым протезом, культей. Живая нога отмерла, атрофировалась от бездействия и глухоты. Но государство, кажется, этим мало озабочено. Оно, как вахтовик-остербайтер, продолжает качать нефть. А на голой нефти, оставив в небрежении и поле, и все иные труды, которыми кормилась и строилась Россия, можно далеко укатить, так далеко, что и Россию потом не найти.